

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ ЖЕНЩИНЫ (ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ЭССЕ)¹

© 2010 г. А. Ш. Тхостов

*Доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой нейро- и патопсихологии,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва;
e-mail: tkhostov@gmail.com*

“Все, все, что гибелью грозит,
для сердца смертного таит
неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья может быть залог!
И счастлив тот, кто среди волненья
Их обретаť и ведаť мог”.

А.С. Пушкин [6]

На примере романа Л.Н. Толстого “Анна Каренина” рассматривается механизм психологического искажения восприятия читателями героя литературного произведения. С использованием психоаналитических концептов основных инстанций психики рассматриваются основные сюжетные линии романа.

Ключевые слова: психологический анализ искусства, культура и патология, психологическая структура литературного героя, “Анна Каренина”.

Роман Л.Н. Толстого “Анна Каренина” можно рассматривать как почти модельный для психолога вариант смыслового искажения текста. Основной смысл выражен в самом библейском эпиграфе “Мне отмщение и аз воздам”², но это никому не мешает воспринимать Анну Каренину как романтическую героиню, пострадавшую “за любовь” от черствого светского общества. Ее вина настолько очевидна для Л. Толстого, что он с самого начала романа выражает оценку падшей женщины устами своего *Alter-ego*³ Константина Левина: “...для меня все женщины делятся на два сорта... то есть нет... вернее: есть женщины, и есть... Я прелестных созданий не видал и не увижу, а такие, как та крашенная француженка у конторки, с завитками, – это для меня гадины, и все падшие – такие же”

[7, т. 8, с. 48]. Однако почти в конце романа, встретившись с Анной, он несколько смягчается: “Какая удивительная, милая и жалкая женщина” [7, т. 9, с. 283]. Кажется, то же самое происходит и с самим Толстым, желавшим обличить Анну, но постепенно начавшим ее не то чтобы оправдывать, но *сочувствовать*. В первых вариантах романа это женщина дурного вкуса, бездушная кокетка с очень слабо развитым интеллектом, ханжа. В окончательном варианте она становится одной из самых обаятельных литературных героинь, настолько обаятельных, что читатель как-то утрачивает реальность восприятия ситуации романа. Создается такая абберация восприятия, что двусмысленность ситуации Анны Карениной не очевидна даже для самого пронизательного читателя. Такой утонченный читатель, как В. Набоков, в лекциях о русской литературе интерпретирует евангельский эпиграф о возмездии, ожидающем Анну, как неправомерность действий света, присвоивших себе божье право на наказание [5]. Правда, не уточняет, как это наказание должно было бы осуществиться: самим явлением бога или все же через подручные инструменты типа изгнания из светского общества. Попробуйте

¹ Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 08-06-00596а.

² Второзаконие, гл. 32, 35: “У меня отмщение и воздаяние когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное им”; Послание Римлянам апостола Павла: Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: “Мне отмщение. Я воздам, говорит Бог” [1].

³ Скорее, даже *Super-Ego*.

теперь сказать, что Анна Каренина, конечно, героиня, но совсем не невинная жертва холодного лицемерного общества!

Это практически невозможно, хотя сам сюжет дает мало оснований для особенной симпатии к героине. Анна не очень умна, капризна, жестока, холодна, зачастую вздорна, говорит почти одни банальности: “я думаю... если столько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви” [7, т. 8, с. 148].

Она легкомысленно кокетлива. Приехав мирить своего брата с его женой, она случайно оказывается на балу и, отлично зная о влюбленности Кити (“Я знаю кое-что. Стива мне говорил, и я поздравляю Вас...”) [там же, с. 81], нисколько ни задумываясь, разрушает ожидаемое сватовство Вронского к Кити. И это происходит в тот момент, когда еще ни о какой любви не идет речи. Для Анны это – случайный эпизод, для Кити – катастрофа, в результате которой она чуть не умирает.

Она склонна к внезапным разочарованиям, которые должны как бы оправдывать ее: уши Каренина (с. 113) внезапно кажутся ей странно большими, она разочаровывается в сыне, оказавшемся хуже, чем в ее воображении (с. 117). Большие уши, конечно, не очень красиво, но это не делает их обладателя не имеющим право на сострадание.

Сомнительна и ее любовь к сыну. Она его, конечно, любит, но эта любовь не делает ее более ответственной. Страсть ее ослепляет, и она практически ни минуты не думает о том, как создавшееся положение может отразиться на ее сыне. Она, скорее, использует его для создания иллюзии независимости и возможности манипуляции и Вронским, и Карениным. “Напоминание о сыне вдруг вывело Анну из того безвыходного положения, в котором она находилась. Она вспомнила ту, отчасти искреннюю, хотя и много преувеличенную, роль матери, живущей для сына, которую она взяла на себя в последние годы, и с радостью почувствовала, что в том состоянии, в котором она находилась, у ней есть держава, независимая от положения, в которое она станет к мужу и к Вронскому” (с. 308). Естественно, никуда Анна не уезжает, куда она может в ее положении бежать, да еще с сыном!

Совсем уж сомнительна ее любовь к дочери от Вронского. Приехав навестить Анну, жертвенная мать Долли поражена тем, что “... Анна, кормилица, нянька и ребенок не сжились вместе, и что посещение матерью было дело необычайное. Анна хотела достать девочке игрушку и не могла найти ее. Удивительнее же всего было то, что на вопрос о том, сколько у ней зубов, Анна ошиблась

и совсем не знала про два последние зуба” [7, т. 9, с. 198]. Вронский раздражен письмом Анны, которое получает, когда уезжает на выборы губернского предводителя: «Содержание было то самое, как он ожидал, но форма была особенно неожиданная и неприятная ему. “Ани очень больна, доктор говорит, что может быть воспаление... Я одна теряю голову. Княжна Варвара не помощница, а помеха. Я ожидала тебя третьего дня, вчера и теперь посылаю узнать, где ты и что ты? Я сама хотела ехать, но раздумала, зная, что это будет тебе неприятно...”. Ребенок болен, а она сама хотела ехать. Дочь больна, и этот враждебный тон» [там же, с. 246–247]. Тем более, что болезнь дочери – явный инструмент манипуляции Вронским – она не настолько опасна (с. 248).

Странно, что почти никто не хочет замечать, насколько чудовищно Анна жестока по отношению к Каренину. Конечно, она разлюбила его, если вообще когда-либо любила. Наверное, человек, по отношению к которому мы были несправедливы, не вызывает у нас симпатии, но есть что-то чрезмерное в полнейшем равнодушии к чувствам брошенного мужа. “Когда возвращаясь со скачек, Анна объявила ему о своих отношениях к Вронскому и тотчас вслед за этим, закрыв лицо руками заплакала, Алексей Александрович, несмотря на вызванную в нем злобу к ней, почувствовал в то же время прилив того душевного расстройства, которое на него всегда производили слезы... Слова жены, подтвердившие его худшие сомнения, произвели жестокую боль в сердце Алексея Александровича. Боль эта была усилена еще тем странным чувством физической жалости к ней, которую произвели на него ее слезы” [7, т. 8, с. 296]. По мнению Анны, Алексей Александрович не достоин никакой жалости. Даже в своей измене она обвиняет его. “Я дурная женщина, я погибшая женщина, – думала она, – но я не люблю лгать, я не переносу лжи, а *его* (мужа) пища – это ложь. Он все знает, все видит; что же он чувствует, если может так спокойно говорить? Убей он меня, убей он Вронского, я бы уважала его... Она не понимала и того, что эта нынешняя особенная словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства” [там же, с. 221]. По поводу того, что Анна не переносила лжи, – это она себе льстит, она ее легко переносила.

Ненависть к Каренину не мешает Анне позвать его при опасности смерти от родов (ребенка Вронского). Примирение с Вронским у постели умирающей Анны оборачивается еще большей ненавистью со стороны Анны, когда она выздо-

равливает. И еще большим унижением Каренина. “Воспоминание о зле, причиненном мужу, возбуждало в ней чувство, похожее на отвращение и подобное тому, какое испытывал бы ... человек, оторвавшийся от себя вцепившегося в него человека. Человек этот утонул” [7, т. 9, с. 33]. “Труднее всего в этом положении было то, что он (Каренин) никак не мог соединить и примирить своего прошедшего с тем, что теперь было. Не то прошедшее, когда он счастливо жил с женой, смущало его. Переход от того прошедшего к знанию о неверности жены он страдальчески пережил уже; состояние это было тяжело, но было понятно ему. Если бы жена тогда, объявив о своей неверности, ушла от него, он был бы огорчен, несчастлив, но он не был бы в том для самого себя безвыходном непонятном положении, в каком он чувствовал себя теперь. Он не мог никак примирить свое недавнее прошлое, свое умиление, свою любовь к больной жене и чужому ребенку с тем, что теперь было, то есть с тем, что, как бы в награду за все это, он теперь очутился один, опозоренный, осмеянный, никому не нужный и всеми презираемый” [там же, с. 79]. То, что он не может выговорить в разговоре с Анной слово “перестрадал” не делает его страдания смешными, и даже Вронский вынужден признать, что обманутый муж, представлявшийся до сих пор жалким существом, случайно и несколько комической помехой его счастью ... этот муж явился ... не злым, не фальшивым, не смешным, но добрым, простым и величественным [7, т. 8, с. 440].

Конечно, в нелюбимом человеке можно найти массу пороков, но, право, логика, по которой именно Каренин якобы мучает Анну своим великодушием, несколько странна. Тем более, что не насильно же она за него была отдана замуж, скорее, наоборот, Каренина вынудили жениться на Анне. “Во время его губернаторства тетка Анны, богатая губернская барыня, свела его, немолодого уже человека, но молодого губернатора со своею племянницей и поставила его в такое положение, что он должен был или высказаться, или уехать из города... Он сделал предложение и отдал невесте и жене все то чувство, на которое был способен” [7, т. 9, с. 81].

Объективно Каренин прав, когда упрекает Анну, что она только себя помнит, а страдания человека, который был ее мужем, ей не интересны [7, т. 8, с. 387].

Анна лжива не только по отношению к Каренину, но и к Вронскому. Вронский просит Долли поговорить с Анной (! – *А.Т.*) о необходимости решить проблему развода с Карениным, поскольку

затягивание решения (в чем, кстати, виновата и Анна) может очень осложнить судьбу детей Анны от Вронского: “... у нас есть ребенок, у нас могут быть еще дети. Но закон и все условия нашего положения таковы, что являются тысячи осложнений, которых она теперь, отдыхая душой после всех страданий, не видит и не хочет видеть. И это понятно. Но я не могу не видеть. Моя дочь по закону – не моя дочь, а Каренина... – И завтра родится мой сын, и он по закону – Каренин, он не наследник ни моего имени, ни моего состояния, и как бы мы не были счастливы в семье, и сколько бы у нас не было детей, между мною и ими нет связи. Они Каренины... Я пробовал говорить об этом Анне. Это раздражает ее. Она не понимает...” [7, т. 9, с. 207].

На самом деле, хотя Анна не считает нужным говорить это Вронскому, у нее не может быть детей:

– “Какие же дети? – не глядя на Долли и шурысь, сказала Анна.

– Ани и будущие...

– Это он может быть спокоен, у меня не будет больше детей... Мне доктор сказал после моей болезни” [там же, с. 217–218].

Однако через страницу она словно забывает о том, что сама только что сказала Долли: “Ты забываешь мое положение. Как я могу желать иметь детей? Я не говорю про страдания, я их не боюсь, подумай, кто будут мои дети? Несчастные дети, которые будут носить чужое имя” (с. 219). Здесь уже совершенно непонятно, о каких несчастных детях вообще идет речь?

В сущности, что бы про себя ни думала Анна Каренина, ее ничто так не волнует, как она сама и ее красота. Возможная беременность раздражает ее потому, что ей кажется, что Вронский “не дорожит ее красотой” (с. 332), она увлекается то строительством больницы, то образованием “покровительствуемой ею Ганны”, “но главная забота ее была все-таки она сама...” (с. 224). Даже ее любовь к Вронскому носит поглощающий собственнический характер. “Она любила его за его самого и за его любовь к ней. Полное обладание им было ей постоянно приятно... Он пожертвовал своим честолюбием для нее, никогда не показывая ни малейшего сожаления... Он, столь мужественный человек, в отношении ее не только никогда не противоречил, но не имел своей воли и был, казалось, только занят тем, как предупредить ее желания” (с. 34).

Но все эти аргументы не имеют никакого значения, ибо Анна все равно каким-то непостижи-

мым образом вызывает сочувствие, ей прощается все, и она вызывает куда большую симпатию, чем придуманные Л. Толстым “правильные” героини Кити и Долли, о которых все всегда забывают. Тайна романа именно в этом иррациональном сочувствии читателя, превращающем бытовую историю в полноценный роман.

В “Анне Карениной” три связанных семейных романа, вернее, истории трех разных браков: Левин–Кити, Стива–Долли, Каренин–Анна–Вронский. История Анны не самая большая, но, безусловно, самая интересная. Две другие играют вспомогательную роль, хотя для Толстого история Левина, которая почти дословно воспроизводит его собственную семейную историю, формально должна была бы стать более важной.

Super-Ego роман. Так же как Левин – это *Super-Ego* (или еще точнее – *Идеал-Я*) Толстого, семейную историю Левина и Кити можно назвать *Super-Ego* романом, ибо по степени “правильности” и при этом поразительной скуки эта часть романа мало с чем сравнима. Толстой пытается показать идеальный брак, но идеал, основанный на исключительно рационально понимаемых отношениях, лишенных огня подлинной страсти, не очень убедителен, и, как это доказал сам же Толстой своей собственной семейной жизнью, не очень жизнеспособен.

Левин, несмотря на мелкие слабости, – человек, безусловно, правильный и правый во всех жизненных обстоятельствах, такой, каким хотел бы быть сам Толстой, а его любовь – та любовь, которая представляется Толстому идеальной.

Уверенность в правоте и безупречности Левина настолько велика, что порой создает комичный эффект. Сама нравственность дает ему право судить о вещах, далеких от его понимания. Забавны его претензии на научную деятельность: “Кроме хозяйства, требовавшего особенного внимания весной, кроме чтения, Левин начал этой зимой еще сочинение о хозяйстве... И только изредка он испытывал неудовлетворенное желание общения бродящих у него в голове мыслей кому-нибудь, кроме Агафьи Михайловны, хотя и с нею ему случалось нередко рассуждать о физике, теории хозяйства и в особенности о философии; философия составляла любимый предмет Агафьи Михайловны” [7, т. 8, с. 163]. Любимые герои Толстого вообще очень любят заниматься какими-то странными исследованиями, которые они считают научными, чего стоят масонские изыскания Пьера Безухова в “Войне и мире”! Это не просто скепсис по отношению к современной науке, это руссоистское убеждение, что наука и

образование только портят нравственного человека, “грамотный, как работник гораздо хуже”, чем неграмотный [там же, с. 262]. Несмотря на просвещенческую оболочку, это глубоко христианская иллюзия, основанная на умозаключении о том, что если бог создал человека по своему образу и подобию, то человек исходно совершенен, а все зло – от внешнего мира.

Отношения Кити и Левина лишены не только порочной, но и вообще какой-либо страстности, они почти ангельские, выстроенные по модели детского восприятия родительских отношений⁴. “Они жили той жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства, и которую он мечтал возобновить со своей женой, с своей семьей.

Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прелестного святого идеала женщины, каким была для него мать.

Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все его счастье” (с. 104). Странно, что психоаналитики не обращали внимания на этот пассаж. Не менее удивительно при этом, что инцестуозные образы матери и жены практически не различимы для *Alter-Ego* Толстого. Правда, нужно заметить, что Левин “почти не помнил своей матери”, это, скорее, продукт фантазирования, но требования к будущей жене сразу же делаются практически невыполнимыми или выполнимыми лишь в контексте идеальной, платонической любви.

Именно так Левин относится к Кити. Ее гротескная идеализация сохраняется на протяжении всего романа. Вначале Левин не может даже подумать о том, как сделать предложение. “Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, тридцати двух лет, сделать предложение княжне Щербацкой; по всем вероятностям, его тотчас признали бы хорошею партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не

⁴ В дофрейдовском представлении.

могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее” (с. 28).

Конечно, это не реальная Кити, как ее описывает Толстой, поскольку в этой Кити нет ничего ни поэтического, ни тем более таинственного, это обычная милая, но не очень умная барышня, ничем не отличающаяся от своих сестер и сверстниц. Но в глазах Левина это какая-то неземная Кити, нечто вроде Мадонны, по отношению к которой возможна лишь любовь горняя. Любовь к Кити не только замещение любви к утерянному дому и детству, она к тому же и плохо дифференцирована. Левин попеременно влюбляется во всех сестер Щербацких. “Все члены этой семьи, в особенности женская половина представлялась ему покрытыми какой-то таинственной, поэтической завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но за этой поэтической, покрывавшей их завесой предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства... Он будто чувствовал, что должен влюбиться в одну из сестер, только не мог разобраться, в какую именно” (с. 27–28).

Вся эта история с “перемещающейся” любовью Левина – повторение реальной ситуации отношений самого Толстого с семейством Берг, а реальный Толстой, в отличие от его воплощенного *Super-Ego* Левина, отличался, по воспоминаниям современников, не только религиозностью и нравственностью, усилившимися к концу жизни, но и довольно бурной сексуальной жизнью [2]. В разговоре со Стивой в ресторане Левин четко формулирует свой страх (проекцию толстовских чувств): “Ты пойми, – сказал он, – это не любовь. Я был влюблен. Но это не это. Это не мое чувство, а какая-то сила внешняя завладела мной. Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь как счастье, которого не бывает на земле... Но одно ужасно... Ужасно то, что мы старые, уже с прошедшим... не любви, а грехов... вдруг сближаемся с существом чистым, невинным; это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным” [7, т. 8, с. 45]. Конечно, нельзя, если воспринимаешь жену как мать, а мать как жену! Особенно если речь идет не о конкретной реальной женщине, а о некоем символическом объекте.

Получив отказ, Левин воспринимает его как заслуженное наказание за попытку святотатства. “Да, что-то есть во мне противное, отталкивающее... Виноват я сам. Какое право имел я думать, что она захочет соединить свою жизнь с моею? Кто я? И что я? Ничтожный человек, никому и ни для кого не нужный” [там же, с. 92–93].

Еще более затруднителен брак (не говоря уже о страсти) в рамках идеальной рациональной любви для женщины. Идеальная женщина не может “хотеть” брака, в лучшем случае его стоит ждать как благовещения. Отец Кити выговаривает своей жене, что она, привлекая женихов в дом, ставит Кити в неловкое положение, компрометируя ее, на что та ему обоснованно возражает, что если его слушать, “то мы никогда не отдадим дочь замуж” (с. 63).

Апофеоз “невывказанных желаний” – сцена объяснения Левина и Кити, воспроизводящая реальную сцену объяснения Льва Толстого и его невесты Софьи Берг [3]. Она настолько интересна, что ее стоит воспроизвести дословно. Это сцена после первого отказа Кити, несостоявшегося сватовства Вронского, болезни Кити, когда они вновь встречаются у Стивы и Долли.

«– Я давно хотел спросить у вас одну вещь...

– Пожалуйста, спросите.

– Вот, – сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили: “когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?”

Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу: но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова.

Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Иногда она взглядывала на него, спрашивая взглядом: “То ли это, что я думаю?”

– Я поняла, – сказала она покраснев.

– Какое это слово? – сказал он, указывая на н, которым означалось слово *никогда*.

– Это слово значит *никогда*, – сказала она, – но это неправда!

– Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: т, я, н, м, и, о...

Он вдруг просиял: он понял. Это значило: “тогда я не могла иначе ответить...”

– Она написала начальные буквы: ч, в, м, з, и, п, ч, б. Это значило: “чтобы вы могли забыть и простить то, что было”.

Он схватил мел напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: “мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас”» [7, т. 8, с. 422].

Потрясающее криптографическое объяснение в любви, маскирующее сокрытием означающих невозможное означаемое! Это нечто вроде магического заклинания: если не называть опасный

объект, то можно избежать столкновения с ним, т.е. таким магическим образом можно приручить его, сделав предложение, не высказывая его. И что же такое ужасное предлагает Кити Левин, что следует даже прибегать к криптографическим усилиям! Просто брак, который, видимо, воспринимается как святотатство, которое не следует даже называть словами. Почему это предложение требует шифровки, если его не понимать как субстанционально греховное? К сожалению, в жизни эта криптография не очень помогла самому Толстому, избегание слов не всегда способствует лучшему пониманию.

Поскольку жизнь Левина (как и самого Толстого) не была идеальной, он делает попытку начать ее как бы сначала, дав Кити прочитать свой дневник. “Он посоветовался со старым князем и, получив его разрешение, передал Кити свой дневник, в котором было написано то, что мучало его. Он и писал этот дневник тогда в виду будущей невесты (sic?! – А.Т.). Его мучали две вещи: его невинность и неверие. Признание в неверии прошло незамеченным. Она была религиозна, никогда не сомневалась в истинах религии, но его внешнее неверие даже нисколько не затронуло ее. Она знала любовью всю его душу, и в душе его она видела то, что она хотела, а что такое состояние души называется быть неверующим, это ей было все равно. Другое же признание заставило ее горько плакать” [там же, с. 432].

Это тоже реальный эпизод биографии Л. Толстого, и, наверное, Софья Андреевна была в не меньшем замешательстве, чем Кити: “Возьмите, возьмите эти ужасные книги! – сказала она, отталкивая лежавшие пред ней на столе тетради. – Зачем вы дали их мне!.. Нет, все-таки лучше, – прибавила она, сжалившись над его отчаянным лицом. – Но это ужасно, ужасно!

Он опустил голову и молчал. Он ничего не мог сказать.

– Вы не простите меня, – прошептал он.

– Нет, я простила, но это ужасно!

Однако счастье его было так велико, что это признание не нарушило его, а придало ему только новый оттенок. Она простила его; но с тех пор он еще более считал себя недостойным ее, еще ниже нравственно склонялся пред нею и еще выше ценил свое незаслуженное счастье” (с. 433).

Помимо отчетливого садомазохистского оттенка этого эпизода, Толстой демонстрирует классический вариант психологической защиты – “отмена уже сделанного”, – позволяющей пересматривать историю с помощью неких сим-

волических действий. Это нечто вроде христианской исповеди, дающей отпущение грехов слабой человеческой душе. Только немного странно, что в роли исповедника выступает будущая невеста, но, в конце концов, именно перед ней и надлежит каяться, получив при этом долю извращенного удовольствия. Даже в рамках чистого *Super-Ego* романа невозможно полностью избавиться от влияния бессознательного, которое незаметно для самого Толстого прорывается в его вроде бы очищенном от всяких страстей тексте. Немного наивно замечание, что Кити не придала значения неверию Левина, поскольку была глубоко религиозна и потому не знала сомнений. Скорее всего, эта проблема ее, как и ее прототипа – Софью Андреевну – волновала значительно меньше, чем самого Толстого. Толстой же в отношении Софьи Андреевны придерживался того же руссоистского убеждения, что неиспорченный сомнениями человек куда более нравствен, а следовательно, подлинно религиозен, чем испорченный избыточными знаниями и сомнениями.

Поскольку идеальная любовь лишена страсти, то и быт Левина и Кити довольно уныл. “Она знала, что у Левина есть дело в деревне, которое он любит. Она, как он видел, не только не понимала этого дела, но и не хотела понимать. Это не мешало, однако, считать это дело очень важным... Говорить им было не о чем, как всегда почти в это время, и она, положив на стол руку, раскрывала и закрывала ее и сама смеялась, глядя на ее движение” [7, т. 9, с. 7–9].

Наполнить смыслом подобное существование могут только дети, но здесь возникает проблема сочетания идеальной любви и детей. Она имеет у Толстого две линии разрешения.

Во-первых, сами роды превращаются из довольно обыденного явления в крайне опасное, сопряженное со смертью сакральное действо (роды маленькой княгини в “Войне и мире”, роды Анны Карениной). Роды Кити – одно из самых эмоционально насыщенных мест романа. Левин считает себя виновным в страданиях Кити, ему кажется, что ни доктор, ни аптекарь, спокойно выполняющие свои обязанности, не понимают ужаса ситуации. “Но, чтоб они не говорили, он знал, что теперь все погибло. Прислонившись головой к притолоке, он стоял в соседней комнате и слышал чей-то никогда несслыханный им визг, рев, и он знал, что это кричало то, что было прежде Кити. Уже ребенка он давно не желал. Он теперь ненавидел этого ребенка. Он даже не желал теперь ее жизни, он желал только прекращения этих ужасных страданий.

– Доктор! Что же это? Что ж это? Боже мой! – сказал он, хватая за руку вошедшего доктора.

– Кончается, – сказал доктор. И лицо доктора было так серьезно, когда он говорил это, что Левин понял *кончается* в смысле – умирает” [там же, с. 297].

Во-вторых, оправданием может быть то, что это будут какие-то необыкновенные дети, которых нужно будет лишь как можно меньше портить воспитанием. Столкнувшись у Долли с нормальными ссорящимися детьми, «в душе своей Левин думал: “Нет. Я не буду ломаться и говорить по-французски со своими детьми, но у меня будут не такие дети; надо только не портить, не уродовать детей, и они будут прелестны. Да, у меня будут не такие дети”» [7, т. 8. с. 289].

Психологическая правда романа Толстого такова, что незаметно для себя герой приходит к неожиданным выводам. Левин выстраивает очень правильную и ответственную жизнь, но, несмотря на ее правильность, чувствует ее странную пустоту. Он (на самом деле сам Л. Толстой) сталкивается с тем, что невозможно полноценно жить выдуманной жизнью. Жизнь, лишенная страсти, – только вымороченная история: сколько ни рассказывай о нравственности Левина, он не вызывает никакого сочувствия, и страницы *Super-Ego* романа, занимающие, кстати, самую большую его часть, хочется быстрее пролистать. Именно с момента сомнения гипсокартонный образ Левина начинает приобретать глубину.

“Но это не только была неправда, это была жестокая насмешка какой-то злой силы, злой, противной и такой, которой нельзя было подчиняться. Надо было избавиться от этой силы.

И избавление было в руках каждого. Надо было прекратить эту зависимость от зла. И было одно средство – смерть.

И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин, был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться.

Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал жить” [7, т. 9, с. 375].

Хороша же счастливая нравственная жизнь, приводящая нравственного Левина практически к тому же финалу, что и “жалкую” Анну Каренину! В романе Левин находит утешение в вере, сцена грозы заставляет его понять, насколько ему нужны Кити и ребенок. Непонятно только, что ему теперь все время нужно будет жить в грозу? В ре-

альной жизни Толстого эти суицидальные переживания так и не нашли однозначного решения.

Ego роман. Помимо горного романа Левина и Кити в “Анне Карениной” есть еще одна, более реалистическая семейная пара: Долли и Стива, с семейной проблемы которых, собственно, и начинается роман. Трудности написания такого романа Толстой формулирует с первой фразы: “Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему” [7, т. 8, с. 5]. То есть писать роман о счастливой любви будет неинтересно, поскольку в этом романе нет никакой драматургии; великий роман можно написать только о несчастливой любви⁵.

Событие, ставшее завязкой, достаточно банально: “Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в доме француженкой-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме” [7, т. 8, стр. 5], причем с самого начала никто не воспринимает всерьез страдания Долли, все предполагают, что так или иначе “все образуется”. Не очень переживает и сам виновник этой “драмы”. Нельзя сказать, что Стива уж совсем бесчувственный человек, но он скорее озабочен не самим событием, сколько тем, что развернулось вокруг этого события. Сама же причина не может рассматриваться как серьезное основание для огорчения. “Степан Аркадьевич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог теперь раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его” (с. 7).

Ситуация, развернувшаяся вокруг измены Стивы, конечно огорчительна, но практически исчерпывается на протяжении первых 80 страниц романа. Никому даже в голову не приходит осуждать неверного мужа, его брак, основанный совсем не на страсти, а на куда более прочных основаниях, не утрачивает своей прочности и в принципе ничем, если не считать гипертрофированно романтических переживаний Левина, особенно не отличается от его идеальной любви. Это даже поразительно, насколько романтический, ответственный, правильный Левин отличается от легкомысленного, неверного, глуповатого Облонского и насколько мало отличий (не считая возраста) между Кити и Долли! Мать семейства должна быть снисходительна: Стива в глубине души убежден, что истощенная, состарившаяся, уже

⁵ Я могу вспоминать только одно произведение о счастливой любви – “Старосветские помещики” Гоголя. – А.Т.

некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства не может не понимать, что он ни в чем не виноват; более молодой Кити понять это еще только предстоит. Это – реальная жизнь, и ничего здесь нельзя поделать, только смириться.

Долли остается хорошей матерью. Конечно, она не так умозрительна и картонна, как Кити, вызывает большее сочувствие, но это сочувствие схоже с сочувствием к соседке, живущей с мужем-пьяницей. Она разумна, потрясающе обиденна, не думает о себе, зная цену непутевому мужу, прощает ему даже то, что он разоряет ее детей, да и детям она знает цену. Повинившийся муж не собирает ничего особенного менять, жизнь идет, как оно и было. Она вызывает безусловное уважение, но, право, можно понять Стиву, изменившего ей. *Ego* роман получается еще скучнее, чем *Super-Ego* роман, это обиденная история, которую может рассказать каждый, и ее чтение захватывает не больше, чем просмотр чужих семейных альбомов. Чистый *Ego* роман – это нечто вроде официальной биографии или дневника, рассчитанного на прочтение посторонними людьми. Бывает, что в нем прорывается что-то интересное, но обычно это весьма унылое чтение. Страсть, если она и существует, заключена в рамки дозволенного, романтики нет ни на грош, а про пеленки не всем интересно читать. Адюльтер тоже какой-то неполноценный, никто особенно, да и сама Долли, не воспринимает его всерьез. Про Стиву и говорить нечего. Его волнует только комфорт, поиски денег, связь его с гувернанткой ничего общего с чувствами не имеет, скорее, это сиюминутное увлечение, да даже не увлечение, а так, шел человек, проголодался, съел пирожок. И, вообще, невозможно представить ничего, что было бы дальше от Стивы, чем страсть, если только не страсть к хорошей еде.

То, что Долли все-таки еще и живой человек, можно оценить лишь из ее отношения к порочной Анне. “Долли была несколько смущена и озабочена тою совершенно новой для нее средой, в которой она очутилась. Отвлеченно, теоретически, она не только оправдывала, но даже одобряла (! – *A.T.*) поступок Анны. Как вообще нередко безукоризненно нравственные женщины, уставшие от однообразия нравственной любви, она издалека не только извиняла преступную любовь. Но даже завидовала ей” [7, т. 9, с. 201]. Это одно из самых тонких наблюдений Толстого, именно в этих словах ключ к пониманию магической притягательности Анны Карениной!

Id роман. Именно эта преступная страсть, разрывающая рамки обыденности, влечет любого

читателя, уставшего, как и Долли, от “однообразия нравственной любви”.

Литературными предшественницами Анны можно назвать Манон Леско, Маргариту Готье или в еще большей степени мадам Бовари. Но она куда привлекательней их, ибо ее любовь бескорыстна: из-за своей любви Анна теряет все. Если маленькую буржуазку Эмму Бовари привлекает не сама любовь, а недоступная ей “светская жизнь”, а ее романы – только попытки приобщиться к ней, то для Анны плата за любовь – это утрата ее статуса, о котором Эмма могла только мечтать [9].

Это совсем не рациональная любовь, ради нее она жертвует своим положением, сыном, жизнью. В ней есть нечто с самого начала порочное и неподвластное самой Анне: она говорит себе, что не нужно видеться с Вронским, но ничего не может с собой сделать. “Она не только сомневалась в себе, она чувствовала волнение при мысли о Вронском и уезжала скорее, чем хотела, только для того, чтобы больше не встречаться с ним” [7, т. 8, с. 107]. Она постоянно пытается и не может контролировать себя. В сцене скачек она привлекает к себе внимание всего света, не в силах совладать со страхом за Вронского. В романе Анна, пожалуй, одна испытывает подлинную страсть, не умозрительную влюбленность, как Кити или Левин, не привычку, как Долли, Стива или Каренин, не увлечение, как Вронский, но страсть, ради которой она жертвует всем, в первую очередь собственной жизнью. Это можно назвать утратой границ, эгоцентризмом, все это будет правдой, но правдой будет и то, что без утраты границ никакая настоящая страсть и невозможна, это всегда “выход за рамки” и “нарушение преград”. Эта страсть поглощает не только Анну, но переносится ею на Вронского. “Для нее весь он, со всеми его привычками, мыслями, желаниями, со всем душевным складом, был одно – любовь к женщинам, и эта любовь... должна была быть сосредоточена на ней одной... Она ревновала его не к какой-нибудь женщине, а к уменьшению ее любви” [7, т. 9, с. 323]. Страсть не подчиняется какой-либо регуляции, ее нельзя объяснить, нельзя скрыть, нельзя отменить. Анна и рада бы скрыть свой страх за Вронского в сцене скачек, но это невозможно, поскольку он в этой ситуации ее сверхценный объект. Но страсть губительна для любви, вызывая у ее объекта ощущение поглощения. “... Главная забота ее все-таки была она сама – она сама, насколько она дорога Вронскому, насколько она может заменить для него все, что он оставил. Вронский ценил это, сделавшееся единственной целью ее жизни, желание не только нравиться, но служить ему, но вместе с тем и тяготился теми

любвными сетями, которыми она старалась опутать его” [там же, с. 224].

Герой романа Анны сам не очень ожидал подобного разворота событий, для него это был, скорее, необязательный роман, каких у его приятелей офицеров было без счета: “большинство молодых людей завидовали ему именно в том, что было самое тяжелое в его любви, – в высоком положении Каренина и потому в выставляемости этой связи для света” [7, т. 8, с. 185], “... наделавшая столько шума и обратившая общее внимание связь его с Карениной, придав ему новый блеск, успокоила на время точившего его червя честолюбия...” [там же, с. 326]. Д. Мережковский замечает, что Вронский – какой-то удивительно неинтересный человек, и если Фру-Фру не говорит, только потому, что механическое устройство ее рта не позволяет этого, то Вронский говорит, видимо, только потому, что механическое устройство его рта это ему позволяет [4].

Даже сам Вронский иногда это понимает. Приставленный к приехавшему в Петербург иностранному принцу, он чувствует раздражение, пока не понимает, что “главная причина, почему принц был особенно тяжел Вронскому, была та, что он видел в нем самого себя. И то, что он видел в этом зеркале, не льстило его самолюбию. Это был очень глупый, и очень самоуверенный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человек, и больше ничего” [7, т. 8, с. 377].

Любовь Вронского заканчивается рано, еще до родов Анны и их отъезда в Италию, дальше он как порядочный светский человек, скорее, терпит ее. “Сколько раз он говорил себе, что ее любовь была счастье; и вот она любила его, как может любить женщина, для которой любовь перевесила все блага в жизни, – и он был гораздо дальше от счастья, чем когда поехал за ней из Москвы. Тогда он считал себя несчастливym, но счастье было впереди; теперь он чувствовал, что лучшее счастье было уже позади. Она была совсем не та, какую он видел ее первое время. И нравственно и физически она изменилась к худшему. Она вся расширилась, и в лице ее, в то же время как она говорила об актрисе, было злое, искажавшее ее выражение. Он смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный им и завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую он сорвал и погубил его. И, несмотря на то, что он чувствовал, что тогда, когда его любовь была сильнее, он мог, если бы сильно захотел этого, вырвать эту любовь из своего сердца, но теперь, когда, как в эту минуту, ему казалось, что он не чувствовал

любви к ней, он знал, что эта связь его с ней не может быть разорвана” [7, т. 8, с. 381].

Деться ему некуда, его офицерская мораль позволяет ему завести роман с замужней женщиной, но не позволяет оставить ее одну. Но поскольку связь с Анной заставляет его резко поменять свой образ жизни, лишая его карьеры и привычного окружения, то эта страстная жизнь начинает постепенно раздражать его. Одно дело необязательный роман, а совсем другое – безвыходная ситуация, в которую они попадают вместе с Анной. Вронский, нужно отдать ему должное, проявляет чудеса терпения, но Анна постоянно накаляет и без того сложную ситуацию.

Но именно в этом и заложена драматургия сюжета. Анна губит все, к чему только прикасается, но эта гибель бессознательно желанней читателю, чем приторное счастье Левина и Кити или обыденная жизнь Стивы и Долли. Толстой как-им-то внутренним чутьем понимает глубинную связь между страстью и смертью, эросом и танатосом. Он, конечно, не использует этих слов, но смысл их передает интуитивно довольно точно: такая любовь смертельно опасна, человек, охваченный страстью, начинает разрушать себя и все, что его окружает. Но сам же он не может устоять перед соблазном страсти: Анна у него получается крайне притягательной.

С самого начала постоянно подчеркивается красота Анны, ее внешняя привлекательность [10]. Но даже невинной Кити эта красота кажется опасной: “Да что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней” [7, т. 8, с. 92]. Строго говоря, Анна для Толстого – блудница, и он почти в точности воспроизводит оппозицию мадонна–блудница между Кити и Анной, дополнив ее земной женщиной – Долли. Сама по себе блудница достойна только осуждения, это для Толстого не героиня, способная вызвать сочувствие. В Анне же сходится и привлекательная страсть, и сочувствие, которое она обретает благодаря своему страданию. Но поскольку сочувствие возможно только *после* страдания, Анна не может быть счастлива. В одном из первых вариантов романа Анна получала развод и выходила замуж за Вронского. Толстой отказывается от этого варианта не только потому, что драматургически это более проигрышная линия, но и потому, что тогда Анна ничем бы не отличалась от княгини Тверской, которую она сама называет “развратнейшей женщиной”. Для христианской этики Толстого очень важна тема возмездия, наказания за преступление, позволяющего воспринимать Анну как заслуживающую прощения. Ее постоянное чувство вины, страда-

ния, невозможность построить счастливую жизнь с Вронским доказывают, что, несмотря на свой поступок, она остается в системе примерно тех же моральных координат, что и Левин. Только, в отличие от него, она их не артикулирует, а переживает. Именно это важно и для читателя, воспринимающего Анну как жертву светского общества. Конечно, обычная женщина Анна Аркадьевна Каренина изменила мужу, но чего в жизни не бывает, многие изменяют, и совсем не все бывают за это наказаны. Некоторые даже устраивают новую жизнь, но это обыденная история. Совсем другое дело несчастная Анна Каренина, затравленная за свою несчастную любовь бездушным светским обществом.

Но в романе нет никаких указаний на то, что общество или даже муж Анны хоть как-нибудь преследовали ее. “Но как ни искренне хотела Анна страдать, она не страдала. Позора никакого не было. С тем тактом, которого так много было у обоих (Анны и Вронского), они за границей, избегая русских дам, никогда не ставили себя в фальшивое положение и везде встречали людей, которые притворялись, что вполне понимали их взаимное положение лучше, чем они сами понимали его” [7, т. 9, с. 34]. Скорее, это сама Анна все время создавала такие ситуации, в которых могла получить “отмщение” за свой поступок.

Сам по себе факт измены даже в то время не был безусловным условием распада брака, огромное количество людей без особых проблем изменяло своим супругам. Конечно, к мужским изменам вообще относились как к чему-то заурядному, с такой измены Стивы начинается роман. Но и женщины, да и какие, вполне могли изменять: мать Вронского, княгиня Бетси Тверская. “Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету” [7, т. 8, с. 64]. Анна знает, что у Бетси роман с Тушкевичем, и недоумевает, почему для всех это так легко, а для нее мучительно.

Каренин тоже предъявляет не очень много претензий, вернее, только одну, чтобы Анна не ставила его в неловкое положение и не встречалась у него в доме со своим любовником. “Мне нужно, чтоб я не встречал здесь этого человека, и чтобы вы вели себя так, чтобы ни свет, ни прислуга не могли обвинить вас... чтобы вы не видали его. Кажется, это не много. И за это вы будете пользоваться правами честной жены, не исполняя ее обязанностей” [там же, с. 341]. Но Анна делает совместную жизнь невозможной. Это можно по-

нять, поскольку любовь Анны к Вронскому всепоглощающая (у него, кстати, не так), но это и один из путей к краху, к которому она должна привести себя, чтобы наказание осуществилось. Если наказания не будет, то чем она не блудница, чем она симпатичней матери Вронского или княгини Бетси? И Анна делает все, чтобы возмездие случилось. Финальное самоубийство – это только заключительная точка ее самоубийственного поведения. Она постоянно ставит себя в ситуацию жертвы если не прямо, то вынуждая других наказывать ее.

Самое главное, она сохраняет двусмысленную ситуацию, избегая решения о разводе. Большинство читателей уверены, что именно Каренин не дает Анне развода, и она не хочет терять сына. Но сына она и так не видит (и как, собственно, она представляет себе возможные встречи с ним?), а Каренин как раз ищет возможности для развода: “целый ряд случаев современных неверностей жен мужьям высшего света возник в воображении Алексея Александровича” (с. 297). Дальше, озлобленный унижением примирения с соперником, он уже менее расположен облегчать Анне жизнь, желая покарать ее, но еще открыт для разговора. Анна не хочет ничего делать и через месяц после разрыва уезжает с Вронским “... за границу, не получив развода и решительно отказавшись от него” (с. 461). Более чем через два года ситуация сохраняется: “Вронский и Анна все в тех же условиях, все так же не предпринимая никаких мер для развода, прожили лето и часть осени в деревне” [7, т. 9, с. 223]. Пассивно-агрессивное поведение Анны в отношении развода имеет функцию самонаказания, трансформируя греховность в самоощущение жертвы. Орудиями этой трансформации становятся озлобленный Каренин, желающий, чтобы Анна получила “возмездие за свое преступление” [7, т. 8, с. 300], и Вронский, своей нечуткостью и раздражением поступающий с Анной, как с Фру-Фру. Но Фру-Фру, в отличие от Анны, невинна и не провоцирует своих палачей.

Отсутствие развода серьезно затрудняет жизнь Анны и Вронского. Бетси Тверская, узнав, что они не получили развод, замечает, что с ними не смогут общаться, куда они не женятся [7, т. 9, с. 104]. Жена брата Вронского, к которой он обращается за помощью, отказывает ему, говоря, что “нужно называть вещи по имени. Ты хочешь, чтобы я приехала к ней, принимала бы ее и тем реабилитировала бы в обществе; но пойми, что я не могу этого сделать, у меня дочери растут, и должна жить в свете для мужа” [там же, с. 105].

Анна же не понимает, или, скорее, не хочет понимать реальности: чего стоит один ее приход в театр, который нельзя интерпретировать иначе, кроме как самоубийственную провокацию. Она словно находится в “отказе” (*denial*), совершая поступок за поступком, ухудшающим ее положение. Она постоянно провоцирует Вронского, превращая страсть во взаимное мучение, то оскорбляя его, то требуя постоянного подтверждения его любви, то раскаиваясь в своих обвинениях. “Точно она на жизнь свою щурится, чтобы не все видеть”, – замечает Долли (с. 208).

Анна целенаправленно разрушает свою жизнь, чтобы получить “отмщение”. “Я сделала дурно и потому не хочу счастья, не хочу развода и буду страдать позором и разлукой с сыном”, “я погибла, погибла! Я хуже чем погибла” [7, т. 8, с. 452]. Ей невозможно ничем помочь, поскольку ее истинная цель во второй части романа – постепенное самоубийство. Даже Каренин замечает Долли на ее просьбу помочь Анне, что невозможно помочь человеку, который этого не хочет. Жажда наказания сливается с нарастающей ревностью к Вронскому. “И она вдруг поняла то, что было в ее душе. Да, это была та мысль, которая одна разрешала все. – Да, умереть!... И стыд и позор Алексея Александровича, и Сережи, и мой ужасный стыд – все спасается смертью. Умереть – и он (Вронский – А.Т.) будет раскаиваться, будет жалеть, будет любить, будет страдать за меня” [7, т. 9, с. 329]. “И смерть как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его, и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилось ей. Теперь было все равно: ехать или не ехать в Воздвиженское, получить или не получить от мужа развод – все было ненужно. Нужно было только одно – наказать его” [там же, с. 335].

И она наказывает Вронского, но прежде всего саму себя, совершая второй свой смертный грех: самоубийство, попутно разрушив жизнь Вронскому и своей дочери, с которой вообще неясно, что теперь будет. Но этот второй грех загадочным образом действует как магический очищающий ритуал, превращая падшую женщину и самоубийцу в романтическую героиню.

Перед смертью она встречается с Долли и Кити, пытаясь найти поддержку, но чувствует в их присутствии только еще большее унижение. Все три женские судьбы последний раз сходятся вместе, и Анна понимает, что она проиграла что-то главное в своей жизни.

“– Все такая же и так же привлекательна. Очень хороша! – сказала Кити, оставшись одна с

сестрой. – Но что-то жалкое есть в ней! Ужасно жалкое!

– Нет. Нынче в ней что-то особенное, сказала Долли. – Когда я провожала ее в передней, мне показалось, что она хочет заплакать” (с. 344).

Как можно считать, что Анна что-то проиграла по сравнению с Кити, живущей в наполовину придуманном браке с Левиным, или с Долли, живущей с мужем, который ее не любит? Только если не сводить жизнь к страсти.

Страсть дает человеку возможность прожить жизнь в совершенно особом измерении базовых человеческих влечений, но неструктурированная, “сырая” страсть не может длиться долго, и в долговременной перспективе она сжигает всех, кто к ней прикасается. Будучи архаическим, примитивным влечением, она не может быть вписана в обыденную человеческую жизнь с ее простыми радостями. Человек, лишенный страстей, – труп, человек, подчиненный им, – марионетка. Вопрос в том, что следует предпочесть: романтические герои выбирали страсти, но платили за них одиночеством и смертью; на излете романтизма ответ был уже не столь очевиден. Для Анны одиночество невозможно, без Вронского ее жизнь бессмысленна. Это психологически абсолютно точный финал. Анна несчастна не потому, что ее преследует общество, а потому, что из ситуации, в которую она попала, у нее нет никакого выхода. “Моя любовь делается страстнее и себялюбивее. А его гаснет и гаснет, и вот отчего мы расходимся... И помочь этому нельзя. У меня все в нем одном, и я требую, чтобы он больше и больше отдавался мне. А он все больше и больше хочет уйти от меня... И изменить это нельзя... Ну, пусть я придумаю себе то, чего я хочу, чтобы быть счастливой. Ну? Пусть я получаю развод, Алексей Александрович отдает мне Сережу и выхожу замуж за Вронского... Что же, Кити перестанет так смотреть на меня, как она смотрела нынче? Нет. А Сережа станет спрашивать или думать о моих двух мужьях? А между мною и Вронским какое же я придумаю новое чувство? Возможно ли какое-нибудь не счастье уже, а только не мучение? Нет и нет!” (с. 348).

* * *

Что же происходит с читателем, который не хочет влюбляться в идеальную Кити или жертвенную земную Долли, предпочитая им греховную Анну? Почему ее земной путь почти точно повторяет судьбу ее литературных предшественниц: Манон Леско, Маргариты Готье, Эммы Бовари – не только незаконной любовью, но смертью? Почему невозможно написать великий роман о счастливой

любви? В крайнем случае, только роман, который счастливо *заканчивается*. У Анны Карениной есть еще одна предшественница, о которой практически никогда не вспоминают в этом контексте, хотя она в каком-то смысле к ней ближе всего: Кармен. Нет, конечно, Анна Каренина совсем не свободная цыганка, играющая мужчинами. Кармен не связана семьей, она не убивает себя сама. В этом смысле она не так греховна, но есть архетипическое сходство, объясняющее привлекательность этих героинь, превратившихся в символы: мало кто читал рассказ Мериме, больше читателей у “Анны Карениной”, но эти героини давно уже оторвались от конкретного литературного контекста, превратившись в символы женщин, заплативших жизнью за свою любовь. Обе они *оперные* героини в том смысле, что от первоначального текста в обыденном сознании осталась одна канва, и обе истории можно рассказать в виде двухстраничного либретто. Правда, в случае Анны Карениной придется пренебречь остальными сюжетными линиями, но можно поспорить, что их и так никто не помнит. Да, смерть под поездом менее сценична, чем смерть от ножа любовника. И все же различие между ними не так велико, как кажется. Кармен не кончает жизнь самоубийством, а вынуждает Хозе убить ее. Но это тоже вариант самоубийства. В случае Анны Карениной ситуация чуть менее очевидна, она вроде бы не ищет смерти, но все ее поведение абсолютно самоубийственно. Совсем не общество ее убивает, оно в этом случае такое же слепое орудие, как и Хозе. Вне смерти и Кармен, и Анна не более чем красивые, страстные и несколько легкомысленные женщины: подумаешь, завели связь с офицерами! Как будто до них этого никто не делал. Величие же они приобретают как символы *надзаконной* страсти и свободы от обыденности. Каждый мужчина мечтает о встрече с Кармен или Анной Карениной, каждая женщина хочет попробовать быть ими, но и те, и другие боятся этого. Из взрывоопасной смеси страха и желания рождается привлекательность этих образов, не зависящая от реальных поступков героинь. Это абсолютно нормально, поскольку страсть не подчиняется логике реальности, она вне ее. Бессознательное влечение безумно обольстительно, и только одно и живо, но оно очень страшно и требует расплаты: в контексте бессознательного страсть и смерть практически синонимы. Читателя манит именно эта бездна, в которую ему безумно хочется заглянуть, но страшно, да и ненужно. В реальности куда чаще встречаются Долли.

В Анне Карениной происходит одновременно абберация восприятия и писателя, и читателя. Толстой, конечно, хотел осудить Анну, но в

результате создал романтическую героиню, подносящую ценой жизни над обыденностью. Читатель получил возможность идентифицироваться с опасным и не всегда возможным в жизни смертельным влечением. Фантазия оказалась намного привлекательней реальности, но в этом и есть психологическая функция искусства.

“Анна Каренина” – автобиографический роман. Не в том смысле, что Л.Н. Толстой рассказывает личную историю: автобиографический в более глубоком контексте. Это – один из самых женоненавистнических романов в русской литературе, и удивительно, что никто не замечал этого раньше. Отношения самого Толстого со страстями были далеки от какой-либо гармонии. Конечно, “Анна Каренина” это не “Отец Сергей”, “Крейцерова соната” или “Дьявол”, но даже в “Войне и мире” поражает ненависть к Элен, которую не в чем особенно упрекнуть. Единственное внятное объяснение ненависти – то, что “одетая, она выглядит как голая”. Да, она из корысти выходит замуж за Безухова, но не это ли делает Николенька Ростов, когда женится на княжне Марье? Любимой своей героине Наташе Ростовской он оставляет только две возможности: быть невинной девочкой или опустившейся, вечно беременной матерью, которую волнует только цвет пятен на детских пеленках [8].

Не хочется упрощать экзистенциальной драмы Толстого, но, без сомнения, “Анна Каренина” еще и драма самого автора, считавшего, что он должен жениться на такой женщине, как Кити, любившего таких женщин, как Анна, но в результате женившегося на такой женщине, как Долли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Библия. М.: Синодальное изд., 2001.
2. Бунин И.А. Толстой // Собр. соч.: В 5 тт. М.: Изд. “Правда”, 1956. Т. 5.
3. Дневники С.А. Толстой, 1890–1891. М., 1928.
4. Мережковский Д.С. Л. Толстой и Ф. Достоевский. Жизнь и творчество // Полное собр. соч. М., Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1914. Т. 9.
5. Набоков Владимир. Анна Каренина // Лекции по русской литературе. М.: Изд. “Независимая газета”, 1998.
6. Пушкин А.С. Пир во время чумы // Избр. соч.: В 2 тт. М.: Художественная литература, 1978. Т. 2.
7. Толстой Л.Н. Анна Каренина // Собр. соч.: В 14 тт. М.: Художественная литература, 1952. Т. 8–9.
8. Толстой Л.Н. Война и мир // Собр. соч.: В 14 тт. М.: Художественная литература, 1952. Т. 4–7.
9. Флорбер Г. Госпожа Бовари. СПб.: “Азбука-классика”, 2008.
10. Rothstein A. The Narcissistic Pursuit of Perfection. N.Y.: International Universities Press, Inc, 1984.

CRIME AND PUNISHMENT OF WOMAN (PSYCHOANALYTICAL ESSAY)

A. Sh. Tkhostov

*Sc.D. (psychology), professor, head of neuro – and pathopsychology chair,
department of psychology, M.V. Lomonosov Moscow State University*

By the example of L.N. Tolstoy's novel "Anna Karenina" the mechanism of psychological distortion in the in the reader's perception of literary work personage is examined. Main novel's plotlines are discussed using psychoanalytical concepts of fundamental instances of the psyche.

Key words: psychological analysis of art, culture and pathology, psychological structure of literary personage, "Anna Karenina".